



УДК 821.161.1

УЧЕНОСТЬ «ГЕРМАНИИ ТУМАННОЙ»: К КОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ НЕМЕЦКОГО УЧЕНОГО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX В.

Сергей Сергеевич Жданов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой языковой подготовки и межкультурных коммуникаций, тел. (383)343-29-33, e-mail: fstud2008@yandex.ru

В статье рассматривается образ немца-ученого как отвлеченного от практической жизни педанта-гелертера, который представлен в русской литературе XIX – начала XX в. Материалом исследования служат произведения А. С. Пушкина, Д. И. Фонвизина, Ф. П. Лубянского, М. П. Погодина, К. Пруtkова, О. И. Сенковского, С. Черного. Степень комизма образа колеблется у авторов – от юмористической до сатирической, что соответствует общей тенденции по изображению героя-немца в русской литературе рассматриваемого периода. В качестве основных элементов данного образа называются педантичность, самоуверенность, отвлеченный характер знания, нелепый внешний вид. При этом научная логика в рамках комического хронотопа оборачивается своей полной противоположностью. Таким образом, демонстрируется абсурдность поведения и мышления «теоретического» немца-ученого.

Ключевые слова: Германия, немцы, русская литература, имагология, литературный типаж, образ ученого.

С конца прошлого века и до сегодняшних дней в рамках литературоведения возникает все больше исследований, посвященных немецким образам в русской словесности (см., например, [1–6]). Все эти работы в той или иной степени затрагивают вопросы имагологии – относительно молодой гуманитарной дисциплины, занимающейся анализом «коллективных представлений народов друг о друге, этнических, национальных, культурных авто- и гетеростереотипов» [7, с. 12], которые возникают и функционируют в смысловом «поле напряжения» между полюсами Своего и Чужого. Обращение к литературе как источнику исследовательского материала в данном случае представляется весьма оправданным. Как пишет А. В. Зеленин, «именно художественная элита» (хотя, отметим со своей стороны, не только она, но и публицисты, и авторы тривиальной литературы, адаптирующие произведения «элиты» под вкусы массовой аудитории) «может в значительной степени влиять на формирование образа

другого народа...» [8, с. 68], основываясь на том, что Дж. Леерсен определил как «пресуппозицию доверия» аудитории автору¹ [9, с. 26].

При этом важно помнить, что имагология – это «теория культурных и национальных стереотипов», а не тех или иных общностей [9, с. 27]. Кроме того, следует иметь в виду, что образы Чужого в «своей» культуре будут отличаться от реальных носителей чуждости уже в силу феномена центрации человеческого сознания, для которого «...совершенно естественно сопротивляться воздействию неведомого и чужого, а потому все культуры склонны существенным образом трансформировать другие культуры, воспринимая их не такими, какие они есть, но такими, какими они должны быть...» [10, с. 106].

В рамках определенной национальной культуры Чужое выступает неким «зеркалом», в котором отражается Свое. При этом, как указывается в культурологической концепции Г. Д. Гачева, именно «немцы» рассматриваются в качестве одного из ключевых воплощений чужеродности² для русских, т. е. как «не мы» и «немые», где «„мы“ – всегда ближайшая мерка и эталон „человека“ вообще» с древнейших времен» [11, с. 12]. Кроме того, являясь территориальными нашими соседями, немцы, особенно начиная с эпохи Просвещения, связаны в общественном сознании русских с обобщенным образом Европы. Земли Германии начинают маркироваться как граница России и условного Запада.

Следует отметить, что отношение к условному Западу отличалось противоречивостью. Долгое время европейские страны рассматривались в русской культуре как «басурманские и еретические» [12, с. 4]. Положение начинает меняться с эпохи Петра, когда активизируются контакты с Западом. В литературе они находят все более широкое отражение со второй половины XVIII в. [13, с. 134]. Со временем у образованной части русского общества отношение к Европе меняется: она начинает восприниматься как «страна святых чудес» [14]. Впрочем, нельзя говорить, что в русской культуре в отношении к Западу и в том числе к Германии «минус» сменился на «плюс». Однако Европа становится объектом пристального интереса русских, как восхищенного, так и критического, что порождает амбивалентность образа.

Формирование стереотипных представлений о европейцах и немцах, в частности, привело к возникновению литературных типажей, особых образов героев, чьи свойства «...характера, внешности, поведения и приемы их подачи дублируются в разных произведениях разных авторов столь часто, что само узнавание типажа становится одним из условий адекватного восприятия героя и текста в целом» [2, с. 38]. При этом национальная идентичность типажных героев «полностью определяет» «специфику» данных персонажей [2, с. 39].

¹ Перевод с англ. наш. – С. Ж.

² Ср. с приводимым Р. М. Шукуровым объяснением происхождения слова «чужой» от древнеславянского *tuzdi*, восходящего к «некоему самоназванию германцев», связанному «с древним **teutā* (то же корень просматривается в *Teutoni* и *Deutsch*)» [15, с. 24].

В данной статье мы рассмотрим специфический образ немца-ученого, имеющий в русской литературе юмористическую или сатирическую окраску. В заглавие работы вынесена перефразированная цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», посвященная Ленскому, который привозит в русскую провинцию «учености плоды» «Германии туманной» [16, с. 33]. В этой характеристике, как указывает М. Ф. Мурьянов, содержатся как скрытая ирония [17, с. 74] по отношению к учившемуся в Геттингене герою, так и фиксация, с точки зрения «русского воображения», т. е. в восприятии носителей русской культуры, «особенностей духовной атмосферы Германии» [17, с. 76] как «центра идеалистических философских течений и романтических направлений в литературе» [18, с. 621]. И хотя, по мнению М.Ф. Мурьянова, эта издевка и не касается самих немецких университетов, о которых «Пушкин был высокого мнения» [17, с. 90], следует признать наличие в русской литературе того времени линии скептической оценки «плодов наук», берущей свое начало в том числе из руссоистской социальной критики [19, с. 297].

Соответственно, общий скепсис по отношению к науке и сугубо рациональной личности, игнорирующей сердечную «чувствительность», а также представления о туманно-неопределенной германской учености приводят к появлению комического образа немецкого ученого – педанта, гелертера, занимающегося отвлеченными от жизни вопросами, наподобие гетевского Вагнера. В какой степени этот зафиксированный в литературе стереотип соответствовал действительности, сказать трудно, а в рамках имагологического исследования, согласно Дж. Леерсену, бессмысленно. Приведем лишь в качестве устойчивости данного образа мнение «изнутри», т. е. немца о немцах. Т. Манн в XX в. следующим образом характеризовал своих соотечественников: «...отношение немца к миру абстрактно... это отношение педантичного профессора, опаленного дыханием преисподней, неловкого и при этом исполненного гордой уверенности в том, что "глубиной" он превосходит мир» [20, с. 309]. В русской же литературе двух прошлых столетий мы сталкиваемся со сходным образом, лишенным, впрочем, демонического и в целом метафизического (фаустианского) элементов, но сохранившим черты педантичности, самоуверенности, неприспособленности к реальной жизни, выражающейся в нелепых поступках и словах.

Следует отметить, что этот образ³ формируется еще на рубеже XVIII–XIX вв. в травелогах русских путешественников, путешествующих по Германии. Так, в заграничных письмах Д. И. Фонвизина упоминаются лейпцигские «педанты», «ученые люди»: «Иные из них почитают главным своим и человеческим достоинством то, что умеют говорить по-латыни, чему, однако ж, во времена Цицерононы умели и пятилетние ребята; другие, вознесясь мысленно

³ Конечно, образ немецкого ученого в русской словесности нельзя сводить только к комическому. Вообще, существует целый пласт текстов, связанных с обучением русских в немецких университетах и рисующих весьма пеструю картину научной жизни Германии глазами наших соотечественников (об этом см., например, в исследованиях [6, 22, 23] и др.).

на небеса, не смыслят ничего, что делается на земле; иные весьма твердо знают артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом – Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума» [21, с. 454]. В данном построенном на антитезах пассаже имеется четкое разделение на два мира: с одной стороны, мир педантов, маркируемый (ложными) небесами, знанием латыни, артифициальной логикой, ученостью и мыслью («мысленно вознесясь»); с другой – мир разумных людей, характеристиками которого называются земля (т. е. реальный мир), натуральная логика, разум, здравый смысл (ведь педанты «не смыслят ничего»). Разрыв между этими пространствами подчеркнут метафорой путешествия: гелертер мысленно возносится на небеса, но это основанное на гордыне самовознесение в контексте христианской культуры, к которой принадлежит автор, ложно и должно обернуться падением (возможно, так исподволь проявляется демонический элемент образа ученого). В данном комическо-профанирующем случае низвержение Люцифера заменяется развенчанием-осмеянием ученого. По сути, перед нами в сжатом виде предстает секуляризованный сюжет развенчания лжепророков, претендующих на обладание тайным знанием (латынь, артифициальная логика).

Знание латыни и пристрастное использование формальной логики роднит образ гелертера с образом средневекового схоласта. Неудивительно, что в написанном в начале XIX в. и уже беллетризованном травелоге Ф. П. Лубяновского смешными педантами предстают ученые-богословы. Русский герой обращается к одному из них, чтобы приобщиться к «тайнам» «высокой науки»⁴ [24, с. 52]. Однако неопит оказывается «безжалостно» разочарован: «Богослов мой сперва не знал, с чего начать, а после, на чем остановиться; ночь жаловал в полдень, и между черным и белым отнюдь не хотел видеть никакой разницы. В полчаса времени он мне наговорил столько своих истин, что я уже не знал, куда с ними деваться...» [24, с. 52]. При этом образ богослова наделяется также бытовой чертой («несносный запах трубки» [24, с. 52]), которая объединяет его с образами немцев-филистеров. Кульминации комическая сцена достигает, когда богослов встречает своего немецкого коллегу: «Высокие умы нечаянно столкнулись, и тут пошли прения по всей строгости правил Полемиконигологических. Великий Доктор Панглос, как он ни был умен, конечно, никогда не говаривал с большим витийством и жаром» [24, с. 54]. Как и у Д. И. Фонвизина, Ф. П. Лубяновский противопоставляет умозрительным построениям «реальный» мир: только на этот раз элементом бинарной оппозиции оказывается не мир здравого смысла, а в духе сентиментализма – естественный и эстетически воспринятый локус («красота природы» [24, с. 54]). Автор также вводит в повествование некоего лейпцигского профессора, в описании которого, как и в фонвизинском тексте, присутствует мотив профанируемой святости. Если в определении университета как «святилища наук» насмешка может быть поставлена

⁴ Орфография и пунктуация текста Ф. П. Лубяновского приближены нами к современным нормам. – С. Ж.

под сомнение, то характеристика самого профессора как Оракула [24, с. 56], безусловно, иронична. В ироническом ключе, т. е. с точностью наоборот, следует понимать и пассаж о скромности ученого: «...тотчас невольно вспомнил о каком-то своем сочинении, писанном лет тридцать тому назад, и признался без всякого тщеславия, с скромностию, что он тогда первый говорил о сей важной материи» [24, с. 56]. Типаж немецкого гелертера всегда отмечен самомнением: недаром тот же богослов в тексте Ф. П. Лубяновского охарактеризован как «гордый» [24, с. 52]. И богослов, и лейпцигский профессор одинаково любят поговорить о своих теориях с окружающими, навязывая собственное мнение: «...шумная проповедь гордого богослова, содержанием своим ни в чем не уступавшая несносному запаху трубки его...» [24, с. 52]; «...пространно рассуждал о духе и теле...», «...говорил красно и свободно...» [24, с. 57]. Параллелизм образов подчеркивается сходной реакцией окружающих на эти речи. Часть из них благоговейно слушает, другая – благополучно игнорирует: «Поверенный, дивясь... мудрости, исходившей из уст Богословских, во все время не открывал своего рта...» [24, с. 52], «...я был столько дерзок, что без всяких околичностей закрыл спокойно глаза...» [24, с. 54] (реакция на речи богослова); «До двух сотен человек было слушателей, и во все время глубокое молчание: многие воображали, что сама Премудрость вещала его устами; другие – везде есть добрые люди – спокойно спали» [24, с. 57] (реакция на речи профессора).

Описания немцев-ученых встречаются и на страницах травелога М. П. Погодина «Год в чужих краях (1939)». При этом автор прибегает к той же иронической метафоре вознесения на небеса, что и Д. И. Фонвизин, описывающий лейпцигских педантов: «Сам Богуславский, в ученом костюме..., с длинными всклокоченными волосами, весь в пыли, один-одинешенек на вершине Университетского здания, был для меня очень занимателен, как верный образ Немецкого ученого, который отделился от земли и живет один в своем особом мире» [25, с. 94, 95]. Сходным образом, через соотнесение с иным миром, миром научной мысли, характеризуется и некий боннский профессор Гюльман: «тихий», «спокойный» немецкий ученый «...едва ли может заботиться о чем-нибудь, кроме своей науки, книги и кафедры» [26, с. 191], «...Немецкие ученые так погружены в свои предметы, что для них исчезает все окружающее, однако ж кроме титулов» [26, с. 35]. Как видим, здесь также используется мотив тщеславия гелертера, придающего большое значение титулам. Погодин высмеивает и важный вид, отличающий немцев-интеллектуалов. Так, путешествующий на корабле пастор описывается курящим «...цигарку с таким глубокомысленным видом, как будто решал Ньютонову задачу. Важное происходило в голове его!» [26, с. 33]. Впрочем, погодинская ирония по отношению к немцам-ученым значительно смягчена, к ней примешивается восхищение людьми, беззаветно преданными науке: «...никакой Немецкий ученый не может быть вреден, ни опасен своею особою; что если б в книге его был даже яд, то он сам всегда сделался бы противоядием» [26, с. 202].

Комический образ немца-ученого продолжает использоваться и в русской беллетристике 30–50-х гг. XIX в., например, в повести О. Сенковского «Ученое путешествие на Медвежий остров», представляющей собой «жестокою карикатуру» [27, с. 57] на жанр травелога, и шуточной оперетте К. Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог». Образы немцев-ученых в данных произведениях также характеризуются самоуверенностью, педантичностью, жизненной неприспособленностью, что объясняется Г. Д. Гачевым особенностью немецкой культуры, суть которой составляют вертикаль, поле напряжений между верхом-«высью», и низом-«глубью»: «...противотяготение между двумя равномоными вертикальными ориентациями... может дать объяснение... противоречию между духом протеста, стремлением к превосхождению мер – и уважением к порядку..., этим тяжелым педантизмом..., неподвижностью... германец... имеет поприще этих тяготений и своих усилий – ... внутри себя...» [28, с. 121]. В то же время, с точки зрения литературной имагологии, «характер» немца-ученого восходит к стереотипному представлению о немцах вообще, бытовавшему в русской культуре в XIX в. Согласно данному представлению, немецкой ментальности свойственны самоуглубленность, идеалистичность и своего рода «экзистенциальный разрыв» [2, с. 52] между жизнью ума и сердца: «"Немцы завладели беспредельно областью умозрения" – это общее место в русских рассуждениях 1830-х – 1840-х гг. о Германии и немцах» [2, с. 51].

Эта «умозрительность» немца-ученого, его теоретичность противоестественны и смешны, с русской точки зрения. Ум немецкого гелертера в попытке охватить все может не отделять свою интерпретацию от истины. При этом данный персонаж крайне нелеп и беспомощен вне стен университета: «Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба... посадил... у себя на шапке» [29, с. 34]. Эффект «кривого зеркала», показывающего ученого с точки зрения коренных жителей, усиливает комичность и в то же время маркирует странность и чуждость этому миру ученого Шпруцмана, героя повести О. Сенковского: «...суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, ...старались заставить его... пошаманить над ними» [29, с. 34]. Как шаман существует и в мире людей, и в мире духов, так и ученый имеет дело и с практикой, и с идеальным миром. Такая амбивалентность может проявляться эксцентричностью, что сближает ученого и колдуна в глазах профана.

К. Прутков, описывая героев-гелертеров, создает еще более карикатурные образы: Шишкенгольм – «старик бодрый, но плешивый; с шишковатым черепом»; Курцгалоп – «лет 46-ти; худой, длинный; лицо морщинистое; волосы жидкие, вылезшие; оттого лоб его высокий» [30, с. 219]. По замечанию В. Я. Проппа, комический эффект состоит в соотношении физического и духовного, «...при котором физическая природа вскрывает недостатки природы духовной» [31, с. 37]. Шишкенгольм бодр, он молодится, но плешивость выдает

в нем старика (читай, консерватора и упрянца), а Курцгалоп «высоколоб» лишь с виду, из-за своей лысины, которая придает ему лишь внешнюю схожесть с ученым. Гелертер рано старится: на него давит груз знаний и препарирование жизни. При этом, в отличие от Фауста, гелертер доволен положением вещей. Вообще, облик гелертера, а также обстановка и сам характер его занятий так или иначе связаны с мотивом старости и смерти. Оба персонажа К. Пруткова схожи с ожившими скелетами: они худы, костлявы, делается акцент на обтянутом кожей черепе. Сам гидропат Курцгалоп говорит, что «...без обливания сошел бы в гроб» [30, с. 232]; Шпурцман обвешивается чучелами и занимается костями.

Эсхатологические мотивы можно увидеть и в расшифровке гелертерами «иероглифов» из сибирской пещеры, которая сама напоминает склеп с костями и таинственными надписями. Создается впечатление, что гелертеры стремятся законсервировать момент («Остановись, мгновение!»). Например, Шишкенгольм вытесняет женихов дочери – русских – из своего дома, для него это воплощение беспокойства, конфликта, действия, а действие несет за собой развязку, т. е. смерть. Шпурцман желает, чтобы его именем назвали какое-нибудь допотопное животное, т. е. тоже жаждет бессмертия. После совершенного открытия он говорит: «Мы теперь бессмертны и можем умереть...» [29, с. 107].

Даже при проявлении сильных чувств ученый-немец руководствуется теорией, наукой – только она может вызвать его энтузиазм. Кости и череп, которые изучают Шишкенгольм и Шпурцман, начинают определять их взаимоотношения с окружающими: «Шпурцман бросился на кости как голодная гиена...» [29, с. 45]; «...он кинулся целовать меня... как самый редкий хвост плезиосауров» [29, с.47]; «Четыре ляжки... предпотопных собак... которую породу хотите вы удостоить вашего имени?... этой можно будет дать имя вашей почтеннейшей сестры...» [29, с. 46]. Шишкенгольм во «Френологе», даже благословляя брак дочери и Курцгалопа, предварительно щупает его затылок.

Пародия на научный стиль, отсылки к авторитетам, которые в глазах немцев являются почти всеведущими, создают комический эффект в произведении О. Сенковского. Так, когда Бромбеус перевел одну из «иероглифических» надписей как «кокетка», Шпурцман ему возражает: «Я не думаю, чтоб кокетки были известны... до потопа... Тогда водились мамонты, мегалосауры...; но кокетки – это произведения новейших времен. ...ни Кювье, ни Шейхцер, ни Гом... не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и остова древней кокетки нет ни в парижском Музее, ни в петербургской Кунсткамере» [29, с. 56]. Т. е. с точки зрения немецкого ученого, явления, о котором не написано, не существует. Шпурцман, как человек теории, является человеком музея и книги, т. е. информации. Не случайно в повести так много фамилий немецких ученых – Гмелин, Паллас, Ренеггс, Клапрот. Это придает оттенок гелертерской наукообразности. Шпурцман даже предлагает ученого Шимшика из рассказа о потопах «в ископаемые почетные члены Геттингенского университета» [29, с. 116].

Так появляется образ «запачканной чернилами» [29, с. 49] Германии – страны ученых-гелертеров. С точки зрения русского, такое «педантство» [29, с. 50] нелепо. Комичность образа Шпурцмана усилена отсутствием у него чувства юмора. Так, на вопрос Бромбеуса, не сделали ли «иероглифические» надписи медведи, он отвечает серьезно: «...это невозможно! <...> Я хорошо знаю зоологию... белые медведи не в состоянии этого сделать» [29, с. 47].

Из-за склонности «к абстракции и мистике» [20, с. 319] немец-педант превращается в фанатика, подобно Шпурцману, защищающему теорию потоков Кювье. Его состояние даже названо «учеными мечтаниями» и «болезнью теорией» [29, с. 36]. Бромбеус также «болен» теорией Шампольона. И оба они «заражают» друг друга. Обнаружив в пещере особый сталагмит, они «узнают» в нем египетские иероглифы, «переведя» которые, они укрепляются каждый в своей теории: «...Барабинская степь... остаток... предпотопной империи..., где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов... с солёными бананами вместо огурцов» [29, с. 112]. Для Шпурцмана это «...естественно и само собой проистекает из прекрасной, бесподобной теории о четырёх потоках...» [29, с. 48]. Вера в теорию так сильна, что факты подбираются и домысливаются. Иррациональное по своей природе «тщеславие» гелертера, которое, напомним, является элементом образа немца-ученого и у Д. И. Фонвизина, и у Ф. П. Лубяновского, влияет на рациональность, на «научные позиции и выводы» [27, с. 169]. Сходным образом прутковский гидропат Иеронимус-Амалия фон Курцгалоп фанатично придерживается водолечения как панацеи от болезней. Шишкенгольм педантично и упрямо верит в зависимость личностных качеств от формы черепа, а авторитетом для него является френолог Галль, ставший своеобразным фетишем для ученого: посреди комнаты стоит «огромный бюст Галля, с подписью его имени золочеными крупными немецкими буквами» [30, с. 220] – аналог золотого тельца в сатирическом ключе. Недаром ученый, рассматривающий «человеческий череп, исчерченный по науке Галля» [30, с. 220], схож с ревностным жрецом. Ученики Шишкенгольма читают «из книги уроки полушепотом» [30, с. 220], подобно послушникам. К Галлю даже обращаются с молитвой, когда занятия постоянно прерывают русские: «О Галль, мудрец великий, спаси ты нас!..» [30, с. 221]. Сходным образом можно рассматривать и гимн, сочиненный Курцгалопом: «Vivat водолечению! Живи народ!.. А все плоды учения! Mein Gott, mein Gott!» [30, с. 231]. Присутствует также намек на жертвоприношение: «Ура черепословию; ура науке сей; до капли нашей кровию пожертвуем мы ей!» [30, с. 235]. Таким образом, здесь высмеивается не сама наука, но, как и в произведениях Д. И. Фонвизина и Ф. П. Лубяновского, наукообразная религия и ее последователи.

Как и в вышеуказанных сочинениях рубежа XVIII-XIX в., у К. Пруткова и О. Сенковского здравый смысл (обыденное сознание) противопоставляется теоретичности немца-педанта. Собственно, Шишкенгольм и Шпурцман одерживают верх, пока находятся внутри собственного пространства (соответствен-

но, квартиры с разнообразными знаками преклонения перед основателем френологии Галлем и пещеры с «надписями», якобы повествующими о древней жизни). Но Шпурцману в итоге приходится покинуть пещеру (материнскую основу, стихию земли, гачевскую «глубь») и потерпеть фиаско. Происходящее в силу внешних обстоятельств, по выражению В. Я. Проппа, «посрамление человеческой воли» [31, с. 87] «свидетельствует о слабости и неустойчивости тех, кто этими обстоятельствами бывает побежден» [31, с. 91]. Внутренний недостаток Шпурцмана, пополнившего многочисленный список неудачливых немцев в России, заключается в приверженности теории, которая делает его, подобно Фаусту в конце трагедии, «слепым» по отношению к действительности.

Существование Шишкенгольма ограничивается его квартирой (то самое Innere). Когда же в это сакральное пространство проникают «чужие» – русские (вместе с русским зрителем пьесы), проявляются все нелепости при столкновении отвлеченной теории и здравого смысла. Шишкенгольм противостоит внешнему миру (миру русских): он против русских женихов дочери и не возражает против «своего» – гелертера Курцгалопа, так как его присутствие не угрожает теории Галля. Таким образом, «теоретичность» в то же время способна победить обстоятельства.

Осознание превосходства «человека теории» над простыми смертными обуславливает самоуверенность гелертера. Шишкенгольм сводит толкование человеческой личности к анализу выпуклостей черепа, причем, как всякий гелертер, ни минуты не сомневается в своей правоте. Он «научно» доказывает, что русские женихи не любят Лизу: «Молчать! Я уже много раз доказывал вам: что вы оба не любите Лизу... профессор френологии может всегда безошибочно узнать: кто способен и кто не способен любить женщину?.. Вы не способны любить женщину, и потому вы не любите мою Лизу! ...Я наблюдал ваш череп; я знаю» [30, с. 222]. Шишкенгольм демонстрирует, что для немца теория является более значимым, чем объективное знание. Так же самоуверен «личный приятель природы» [29, с. 35] Шпурцман: «Я не египтолог, а сказал вам тотчас, что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. ...Итак, это доказано» [29, с. 48]. Он кичится своим превосходством над Иваном Антоновичем Страбинских: «Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли там золотоносный песок...» [29, с. 111, 112]. Последний позднее хладнокровно разоблачает весь алогизм «перевода» сталагмитов, что одновременно является насмешкой над немецкой теорией. Однако говоря о победе «здравого смысла» над «теорией» гелертеров, надо отметить видимость этого триумфа. Несмотря на неудачу с «письменами» «древних барабинцев», Шпурцман вряд ли откажется от теории Кювье. Соответственно, раскрытие «внутренней несостоятельности» ученых происходит для зрителей-читателей, герои же не меняются.

Традиция сатирического изображения немцев ученых наконец находит свое продолжение в начале XX в. в творчестве С. Черного, который сам был студентом-вольнослушателем и дает читателям «возможность, пусть и с иронией, прочувствовать "дух Гейдельберга"» [32, с. 436]. Так, в стихотворении

«Философы» в комичной ситуации описывается профессор Виндельбанд, читающий лекцию студентам. Как и в произведении Ф. П. Лубяновского, С. Черный характеризует талант ученого через внимание слушателей: «Какой талант! Набив огромный зал, студенты слушали не упуская слова...» [33, с. 247]. При этом реакция публики описывается иронически гипертрофированно: «...полны такого понимания живого, что Кант на небесах сердечно умилялся. И сладко улыбался» [33, с. 247]. Отметим и рассматриваемый нами ранее травестированный мотив небес как мира ученых-философов с Кантом во главе. Пафос первой части снимается комическим поворотом во второй. Когда Виндельбанд говорит студентам, что из-за научного заседания пропустит следующую лекцию, восторженная реакция слушателей превосходит все ожидания: «Вмиг крики поднялись и топот ног и ржанье – философы как с цепи сорвались: "Hoch! Hoch! Благодарим! Отлично! Bravo!"» [33, с. 247]. Как указывает В. Д. Миленко, такое амбивалентное впечатление Виндельбанд производил на многих гостей из России. Так, Ф. А. Степун, «бесконечно уважавший этого профессора..., тем не менее про себя дразнил его "пивоваром"...» [34, с. 67] (маркер филистерства), а другой русский студент, восхищавшийся Виндельбандом заочно, через знакомство с его трудами, был весьма разочарован встречей с реальным человеком, устная речь которого была лишена изящества письменной [34, с. 68]. В данном случае можно увидеть дальние отголоски особого, по Ю. М. Лотману, «преувеличенного значения», придаваемого Слову в русской культуре [35, с. 57]. Если в западной традиции философ мог позволить себе утверждать в своих сочинениях одно, а в реальной жизни отходить от утверждаемых идеалов, то русская постепенно секуляризирующаяся культура требовала от носителя Слова служения и жертвы. В то же время мы имеем дело с повторяющимся относительно образа ученого мотива раздвоенности его существования на «умозрительное» бытие идей, в котором гелертер чувствует себя свободно, и «реальный» человеческий мир, где герой выглядит смешно и нелепо.

Итак, сатирический образ героя-немца в русской литературе сохраняет относительную устойчивость на протяжении более чем века, что свидетельствует о типажности данного образа. Его характерными чертами выступают педантизм, стремление к сверхрационализации (тотальному объяснению) окружающего мира и одновременно самодовольство, тщеславие и фанатическая вера в представляемые им идеи. Этот «теоретический» человек замкнут, как в футляре, в мире научных штудий и забот университетской жизни. Соответственно, его «наука» выходит за рамки рациональности и превращается в эрзац секуляризированной религии. Излишняя теоретичность и ученость гелертера противопоставляется здравому смыслу и разуму. При этом бытовой портрет ученого-немца не лишен филистерских черт и в целом комичен, поскольку такой персонаж, как правило, совершенно не приспособлен к обыденной жизни. Наконец, с данным образом связан особый травестийный мотив мнимого вознесения на небеса, тогда как истинное вознесение является прерогативой либо святого, либо мифического героя. Персонаж (немец-ученый, философ, богослов) уносится

в мир высоких идей, описание которых, однако, проникнуто иронией. Зачастую ему фактически отказывается в статусе служителя истины.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Lebedeva O. B., Januškevič A. S. Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. – Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2000. – 276 p.
2. Жуковская А. В., Мазур Н. Н., Песков А. М. Немецкие типажи русской беллетристики (конец 1820-х – начало 1840-х гг.) // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 34. – С. 37–54.
3. Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). – М. : ИВИ РАН, 2000. – 210 с.
4. Жданов С. С. Немецкость как воплощение порядка в русской литературе: от Н. В. Гоголя до С. Черного // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 2 (30). – С. 151–163.
5. Папилова Е. В. Немцы глазами русских в художественной словесности XIX века. – М. : ЛЕНАНД, 2014. – 136 с.
6. Филиппова Т. А. Немцы – это только повод. Риторика образа врага (по материалам журнала «Новый Сатирикон») // Копелевские чтения 2007. Россия и Германия: диалог культур : с борник статей / под ред. А. И. Борозняка, В. Б. Царьковой. – Липецк, 2008. – С. 122–130.
7. Репина Л. П. «Национальный характер» и «образ Другого» // Диалог со временем. – 2012. – Вып. 39. – С. 9–19.
8. Зеленин А. В. Немцы в русской культуре (Лингвистическая имагология) // Русский язык в школе. – 2013. – № 4. – С. 63–71.
9. Leerssen J. Imagology: History and method // Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey / Ed. by M. Beller, J. Leerssen. – Amsterdam; New York : Rodopi, 2007. – P. 17–32.
10. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. – СПб. : Русский мир, 2006. – 638 с.
11. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. – М. : Прогресс-Культура, 1995. – 480 с.
12. Тиме Г. А. О феномене русского путешествия в Европу. Генезис и литературный жанр // Русская литература. – 2007. – № 3. – С. 3–18.
13. Козлов С. А. Русские путешественники Нового времени: имперский взгляд или восприятие космополита? // Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context / Ed. M. Tetsuo. – Sapporo : SRC, 2008. – С. 133–147.
14. Гуминский В. М. Путь на Запад: русская литература путешествий в послепетровскую эпоху [Электронный ресурс] // Новая книга России. – 2016. – № 3. – С. 17–25. – Режим доступа : <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm>.
15. Шукуров Р. М. Введение, или Предварительные замечания о Чуждости в истории // Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. – М. : Алетея, 1999. – С. 9–30.
16. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т. Т. 6: Евгений Онегин. – М. : Воскресенье, 1995. – 700 с.
17. Мурьянов М. Ф. Пушкин и Германия. – М. : Наследие, 1999. – 445 с.
18. Словарь языка Пушкина: в 4 т. Т. 4: С-Я / отв. ред. акад. АН СССР В. В. Виноградов. – 2-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 2000. – 1232 с.
19. Викторovich В. А. Плоды наук // Онегинская энциклопедия: в 2 т. / под общей ред. Н. И. Михайловой. Т. 2: Л-Я. А-Z. – М. : Русский путь, 2004. – С. 296–298.
20. Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. – М. : Гослитиздат, 1961. – 696 с.
21. Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2 т. Т. 2. – М. – Л. : Художественная литература, 1959. – 742 с.

22. Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX века. – М. : Знак, 2005. – 432 с.
23. Birkenmaier W. Das russische Heidelberg. Zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert. – Heidelberg : Wunderhorn, 1995. – 205 S.
24. Лубяновский Ф. П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах: в 3 ч. Ч. 1. – СПб. : Медицинская типография, 1805. – 230 с.
25. Погодин М. П. Год в чужих краях (1839) в 4-х ч. Ч. 1. – М. : Университетская типография, 1844. – 226 с.
26. Погодин М. П. Год в чужих краях (1839) в 4-х ч. Ч. 4. – М. : Типография Н. Степанова, 1844. – 230 с.
27. Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий 1790-1840 / пер. с англ. Д. Соловьева. – СПб. : Академический проект, 2004. – 272 с.
28. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Курс лекций. – М. : Academia, 1998. – 430 с.
29. Сенковский О. Ученое путешествие на Медвежий остров // Русская фантастическая проза XIX – начала XX века. – М. : Правда, 1991. – С. 34–116.
30. Прутков К. Черепослов, сиречь Френолог // Сочинения. – М. : Художественная литература, 1976. – С. 217–235.
31. Пропп В. Я. Собрание трудов. Проблема комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре. – М. : Лабиринт, 1999. – 288 с.
32. Далкылыч О. В. Три мира, три эпохи, три культуры: эхо городов Гейдельберг, Таллин и Кайсери в русской литературе XVIII–XX веков // Русский травелог XVIII–XX веков : коллективная монография / под ред. Т. И. Печерской. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015. – С. 427–445.
33. Черный С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1: Сатиры и лирика. Стихотворения. 1905–1916. – М. : Эллис Лак, 1996. – 464 с.
34. Миленко В. Д. Саша Черный: Печальный рыцарь смеха. – М. : Молодая гвардия, 2014. – 366 с.
35. Лотман Ю. М. Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии. – СПб. : Искусство-СПБ, 1997. – 832 с.

Получено 05.10.2017

© С. С. Жданов, 2017

SCHOLARISM OF THE «NEBULOUS GERMANY»: TO THE COMIC GERMAN SCIENTIST'S IMAGE IN RUSSIAN LITERATURE OF THE LATE XVIII – EARLY XX CENTURIES

Sergey S. Zhdanov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., Ph. D., Associate Professor, Head of the Department of Language Training and Intercultural Communications, phone: (383)343-29-33, e-mail: fstud2008@yandex.ru

The paper deals with the image of a German scientist as a bookish kind of mind, scholastic and dogmatist, which is presented in Russian literature of the XIX – early XX century. Study materials are works by A. S. Pushkin, D. I. Fonvizin, F. P. Lubyansky, M. P. Pogodin, K. Prutkov, O. Senkovsky, S. Chorny. A degree of comic in the image varies by the authors from humoristic to satiric what corresponds to the general trend of representing a German character in the Russian literature of the affected period. The main elements of this image are pedantry, overconfidence, ab-

stractedness, grotesque ridiculous appearance. By the way the logic of scientific cognition turns within the comic chronotope into its complete antithesis. Thus, it demonstrates the absurdity of the 'speculative' German scientist's behavior and thinking.

Key words: Germany, germans, russian literature, imagology, literature character type, scientist's image.

REFERENCES

1. Lebedeva, O. B., & Januškevič, A. S. (2000). *Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts*. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
2. Zhukovskaja, A. V., Mazur, N. N., & Peskov, A. M. (1998). German characters of Russian belles letters (the last 1820th – the early 1840th). *Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review]*, 34, 37–54 [in Russian].
3. Obolenskaja, S. V. (2000). *Germanija i nemcy glazami russskih (XIX v.) [Germany and Germans from the Russian point of view]*. Moscow: IVI RAN [in Russian].
4. Zhdanov, S. S. (2015). Germanness as an implementation of order in the Russian literature: from N. V. Gogol to S. Chorny. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 2(30), 151–163 [in Russian].
5. Papilova, E. V. (2014) *Nemcy glazami russskih v hudozhestvennoj slovesnosti XIX veka [Germans from the Russian point of view in the literature of the XIX century]*. Moscow: LENAND, [in Russian].
6. Filippova, T. A. (2008). Germans are just a trigger. The discourse of the enemy image (based on the magazine «Novyj Satirikon»). In *Kopelevskie chtenija 2007. Rossija i Germanija: dialog kul'tur. Sbornik statej [Kopelev Readings 2007. Russia and Germany: Dialog of Cultures. Collection of Articles]* (pp. 122–130). A. I. Boroznjak, & V. B. Carkova (Eds.). Lipeck [in Russian].
7. Repina, L. P. (2012). "National character" and "image of Alien". *Dialog so vremenem [Dialog with the Time]*, 39, 9–19 [in Russian].
8. Zelenin, A. V. (2013). Germans in Russian culture (linguistic imagology). *Russkij jazyk v shkole [Russian Language in School]*, 4, 63–71 [in Russian].
9. Leerssen, J. (2007). Imagology: History and method. In M. Beller, & J. Leerssen (Eds.), *Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey* (pp. 17–32). Amsterdam; New York: Rodopi.
10. Said, E. (2006). *Orientalizm: Zapadnye kontseptsii Vostoka [Orientalism: Western concepts of the Orient]*. (A. V. Govorunov, Trans.). Saint-Petersburg: Russkii mir [in Russian].
11. Gachev, G. D. (1995). *Natsional'nye obrazy mira. Kosmo-Psiho-Logos [National images of the world. Cosmo-Psycho-Logos]*. Moscow: Progress-Kul'tura [in Russian].
12. Time, G. A. (2007) About the phenomenon of the Russian journey to the Europe. Genesis and the literature genre. *Russkaja literatura [Russian Literature]*, 3, 3–18 [in Russian].
13. Kozlov, S. A. (2008). Russian traveler of the modern age: an empire viewpoint or a cosmopolite education? In M. Tetsuo (Ed.), *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context* (pp. 133–147). Sapporo: SRC [in Russian].
14. Guminsky, V. M. (2016). Way to the West: Russian literature of journey in the post-Petrine period. *Novaia kniga Rossii [New book of Russia]*, 3, 17–25. Retrieved from: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm> [in Russian].
15. Shukurov, R. M. (1999). Introduction or Preparatory remarks about Foreignness in the history. In *Chuzhoe: opyty preodolenija. Očerki iz istorii kul'tury Sredizemnomor'ja [Alien: overcoming practices. Essays of the Mediterranean culture history]* (pp. 9–30). Moscow: Aleteja [in Russian].
16. Pushkin A. S. (1995). *Polnoe sobranie sochinenij: T. 6, Evgenij Onegin [Complete works: Vol. 6, Eugene Onegin]*. Moscow: Voskresen'e [in Russian].

17. Mur'janov, M. F. (1999). *Pushkin i Germanija [Pushkin and Germany]*. Moscow: Nasledie [in Russian].
18. Vinogradov, V. V. (Ed.), (2000). *Slovar' jazyka Pushkina: T. 4. [Dictionary of the Pushkin language: Vol. 4]*. (2nd ed.). Moscow: Azbukovnik [in Russian].
19. Viktorovich, V. A. (2004). Fruits of the sciences. In *Oneginskaja jenciklopedija: T. 2. [Onegin encyclopedia: Vol. 2]* (pp. 296–298). Moscow: Russkij put' [in Russian].
20. Mann, T. (1961). *Sobr. soch.: T. 10 [Collected works: Vol. 10]* (pp. 303–326). Moscow: Goslitizdat [in Russian].
21. Fonvizin, D. I. (1959). *Sobranie sochinenij: T. 2 [Collected works: Vol. 2]*. Moscow; Leningrad: Khudozhestvennaia literatura [in Russian].
22. Andreev, A. Ju. (2005). *Russkie studenty v nemeckih universitetah XVIII – pervoj poloviny XIX veka [Russian students at German universities of the XVIII – the first half of XIX century]*. Moscow: Znak [in Russian].
23. Birkenmaier, W. (1995). *Das russische Heidelberg. Zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert*. Heidelberg: Wunderhorn.
24. Lubianovskii, F. P. (1805) *Puteshestvie po Saksonii, Avstrii i Italii v 1800, 1801 i 1802 godakh: Ch. 3 [Journey through Saxony, Austria and Italy in 1800, 1801 and 1802: Part 1]*. Saint-Petersburg: Meditsinskaia tipografiia [in Russian].
25. Pogodin, M. P. (1844a). *God v chuzhikh krajah (1839): Ch. 1 [A year in the foreign lands: Part 1]*. Moscow: Universitetskaja tipografija [in Russian].
26. Pogodin, M. P. (1844b). *God v chuzhikh krajah (1839): Ch. 4 [A year in the foreign lands: Part 4]*. Moscow: Tipografija N. Stepanova [in Russian].
27. Shenle, A. (2004). *Podlinnost' i vymysel v avtorskom samosoznanii russkoi literatury puteshestvii 1790–1840 [Authenticity and fiction in the Russian literary journey 1790–1840]*. (D. Solov'ev Trans.). Saint-Petersburg: Akademicheskii proekt [in Russian].
28. Gachev, G. D. (1998). *Natsional'nye obrazy mira [National images of the world]*. Moscow: Academia [in Russian].
29. Senkovskij, O. (1991). Scientific jorney to the Medvezhij island. In *Russkaja fantasticheskaja proza XIX – nachala XX veka [Russian speculative fiction of the XIX-early XX century]* (pp. 34–116). Moscow: Pravda [in Russian].
30. Prutkov, K. (1976). Chereposlov namely Phrenologist. In Prutkov K. *Sochinenija [Works]* (pp. 217–235). Moscow: Hudozhestvennaja literatura [in Russian].
31. Propp, V. Ja. (1999). *Sobranie trudov. Problema komizma i smeha. Ritual'nyj smeh v fol'klore [Collected Works. Problem of the Comic and Laugh. The Ritual Laugh in Folklore]*. Moscow: Labirint [in Russian].
32. Dalkylych, O. V. (2015). Three worlds, three epochs, three cultures: echo of the cities Heidelberg, Tallin and Kayseri in the Russian literature of the XVIII–XX centuries. In T. I. Pecherskaja (Ed.), *Russkij travelog XVIII–XX vekov [Russian travelogue of the XVIII-XX centuries]* (pp. 427–445). Novosibirsk: NSPU [in Russian].
33. Chorny, S. (1996). *Sobranie sochinenij: T. 1 [Collected works: Vol. 1]*. Moscow: Ellis Lak [in Russian].
34. Milenko, V. D. (2014). *Sasha Chorny: Pechal'nyj rycar' smeha [Sasha Chorny: the sad knight of the laugh]*. Moscow: Molodaja gvardija [in Russian].
35. Lotman, Ju. M. (1997). *Karamzin. Sotvorenje Karamzina. Stat'i i issledovanija 1957–1990. Zametki i recenzii [Karamzin. The creation of Karamzin. Papers and studies 1957–1990. Notes and reviews]*. Saint Petersburg: Iskusstvo-SPB [in Russian].

Received 05.10.2017

© C. C. Жданов, 2017